

Жан Любуффе

С позиций антикультуры

Перевод с французского В. Андреевой
под ред. В. Антонова

Говорят, будто в искусстве, как и в других областях, в мировоззрении многих людей происходят серьезные изменения. . .

Одни, прежде незыблемые и непреложные ценности начинают казаться сомнительными, и даже неверными, зато другие, которые были в пренебрежении, а то и презирались, делаются вдруг самыми нужными. Многим мы, несомненно, при этом обязаны ^{большому} за истекшие 50 лет знакомству с т.н. первобытными культурами и с их своеобразной манерой мышления. Западную публику весьма занимает и интересует это искусство.

Спрашивается, можно ли чему научиться у этих дикарей? Не исключено, что в ряде областей их решения и пути, которые казались нам столь "примитивными", окажутся в конце концов лучше наших. Возможно, что утонченность, интеллект и глубина на их, а не на нашей стороне.

Что до меня, то я испытываю глубокое почтение к ценностям варварской жизни, к ее инстинкту, страсти, нелогичности, жестокости и безумию. Впрочем, подобного своеобразия Западу не занимать. Наоборот! По моему мнению, однако, восхваляемые ценности нашей культуры не соответствуют истинному направлению нашего мышления. Наша культура — это одежда, которая нам не к лицу или уже больше не к лицу. Эта культура похожа на мертвый язык, который не имеет ничего общего с обиходной речью. Она все более отдаляется от нашей настоящей жизни. Как культура мандаринов, она замкнулась в порочном кругу. У нее нет больше живых корней.

Я жажду искусства, которое непосредственно связано с живой жизнью, исходит из гущи жизни, откровенно отражает нашу настоящую жизнь и наши настоящие настроения.

Попытаюсь уточнить отдельные положения, в которых я не согласен с нашей культурой.

Одна из главных особенностей западной психологии — это отношение к человеку, как к отличному от всех существу.

Никто не собирается хоть в чем-то приравнять или сравнивать человека с природными стихиями /разве что в шутку или с поэтической целью/: ветром, деревом или рекой.

Запад весьма презирает и дерево, и реку. Он не хочет быть похожим на них. "Первобытный" человек, наоборот, любит и восхищается деревом и рекой и ему очень лестно сходство с ними. Он верит в действительное единство между человеком, деревом и рекой. В нем живет сильное ощущение всеобщей взаимосвязи и особенно связи человека и остального мира. Эти "примитивные" общества относятся с гораздо большим уважением, чем западный человек, к другим существам на земле. Человека они не воспринимают как господина над другими, а лишь как одного из них.

Западный человек уверен в способности своего мышления составить очень полное представление о вещах. Он убежден, что мир развивается в соответствии с деятельностью его разума. Он крепко верит в принципы разума и особенно логики.

"Дикий" же видит в разуме и логике скорее несовершенство и больше полагается на другие способы познания вещей.

Вот почему у него такое почтение и уважение к состояниям, которые у нас называются безумными. Должен признаться, что у меня безумие вызывает самый живой интерес. Я убежден, что у искусства много общего с безумием.

Теперь хочется поговорить о великом почтении, с которым западная культура относится к сформулированным идеям. Они не кажутся мне высшим достижением человеческой деятельности. Скорее, они кажутся мне слабым местом умственного процесса, своеобразной внешней корой, возникшей при охлаждении.

Идеи, как пар, который превращается в воду, соприкасаясь с поверхностью разума и логики.

Я не думаю, что самая активная работа мысли протекает на уровне идей. Меня этот уровень не интересует. Я больше пытаюсь уловить мысль тогда, когда она еще находится в стадии, предшествующей сформулированной идее.

Все западное искусство, литература и философия действуют на этом уровне сформулированных идей. Мое же искусство

и моя философия целиком проистекают из более глубинного слоя. Я стараюсь, по возможности, схватить ход мысли в самом ее истоке, где, как я уверен, она самая плодотворная.

Западная культура истощена анализом, мне же он не нравится и я мало ему доверяю. Считается, что обо всем можно узнать разложив, препарировав и изучив отдельные части.

У меня же совсем иная натура. Я более склонен к противоположному — все соединять воедино. Едва предмет разъят лишь на две части, как он для меня погиб. Он чужд мне и очень далек.

Я совершенно уверен, что в совокупности частей никак не передается целое.

Когда я хочу глубоко познать предмет, я одновременно желаю видеть и его окружение. Если мне нужно узнать о лежащем на столе карандаше, я задерживаю взор не только на нем, но и на всей комнате и стараюсь увидеть как можно больше предметов.

Растущее в поле дерево, я не привожу в свою мастерскую для разглядывания под микроскопом, ибо я знаю, что колышущий его листву ветер столь же нужен для познания дерева и их нельзя отделять друг от друга. Как и птицы, садящиеся на его ветки, и птичье пение. Мой ум устроен так, что я готов прибавить многое из того, что около дерева, да и больше.

Я так долго остановился на этом вопросе потому, что подобный склад ума — важный фактор моего искусства.

И еще один момент... Наша культура основана на полнейшем доверии к языку /особенно письменному/ и на вере в его способность выражать и формулировать мысли. По-моему, это — недоразумение. По моему убеждению, язык — это грубая, очень грубая стенография, система весьма примитивных алгебраических обозначений, которая не помогает мысли, а искажает ее. Живое слово — конкретнее написанного и благодаря тембру и интонации голоса, легкому покашливанию, гримасам и мимике, оно кажется мне более выразительным.

Письменный язык, по-моему, — плохой инструмент. В ка-

честве орудия общения он способен передать только мертвую мысль. Это — окалина, оставшаяся от огня. А, в качестве орудия мысли язык ее сковывает и обедняет.

Я полагаю /и в этом похож на первобытных людей/, что будучи конкретнее написанного слова, живопись — более гибкое орудие для передачи и формулирования мысли.

Как я уже говорил, мысль меня интересует не тогда, когда она застывает в сформулированной идее, а на ее предшествующих этапах.

Я хочу, чтобы моя живопись воспринималась как попытка языка, который соответствует указанным этапам мышления.

Наконец, я подошел к последнему моменту, который касается западного понимания красоты. Прежде всего поясню, чем мое понимание отличается от общепринятого видения.

В последнем вещи делятся на красивые и некрасивые, люди — на красивых и уродливых, места — на красивые и скучные. У меня же — все иначе. Красота для меня ничто. Приведенное понятие красоты я считаю совершенно неверным и полностью отвергаю идею, что есть уродливые люди и некрасивые предметы.

Она кажется мне ужасной и возмутительной.

Полагаю, мысли, что в мире есть красивое и некрасивое, мы обязаны грекам. ...

Так называемый дикарь в это не верит. Ему непонятно наше определение красоты. За это-то его и прозвали дикарем. Подобное название дается тому, кто не знает о существовании прекрасного и уродливого и ничуть этим не озабочен.

Из века в век /а ныне более, чем когда-либо/ западный человек обсуждает, какие вещи красивы, а какие нет. Никто не сомневается в существовании красоты, но попробуйте найти двух людей, которые, взглянув на предмет, не спорили бы, красив он или нет. И так без конца. С каждым новым веком западная культура называет прекрасным то, что в прошлом веке считалось уродливым.

Эти шатания можно объяснить лишь одним: существующая красота явно скрыта от глаз многих людей. Чтобы увидеть

красоту нужен особый дар, которого нет у многих.

Считается, что путем упражнений этот дар можно развить и даже вызвать у тех, у кого его нет. Для этого-то и заведены школы.

В этих школах профессора рассказывают ученикам, что прекрасное существует, но тут же добавляют, что до сих пор ведутся споры, в чем оно, и определить его пока не удалось. Они призывают учеников самим заняться этой проблемой, и дело топчется на месте из поколения в поколения.

Однако наша культура пуще всего порождает этой идеей. Веру в существование и поклонение красоте принято считать главным оправданием западной цивилизации. Сам принцип этой цивилизации неотделим от подобного понятия красоты.

По-моему, эта идея жалка и малооригинальна и более того она не очень вдохновляет.

Люди сокрушаются при мысли, что их называют некрасивыми из-за кривого носа, полноты или преклонного возраста. Мне не очень приятна мысль, что в нашем мире так много уродливых предметов и некрасивых мест. Красивые же вещи и места очень редки и их трудно отыскать. Запад, по-моему, ~~никогда~~ не очень много потеряет, если откажется от этой идеи. Он выиграет, если усвоит, что в мире любой предмет может стать основой восхищения и озарения для любого человека. Такая идея больше бы обогатила нашу жизнь, чем греческое понимание красоты.

Что же сейчас мы наблюдаем в искусстве? Начиная с греков, цель искусства — поиск красивых линий и гармоничных цветовых сочетаний. Если убрать эту цель, что станет с искусством?

Об этом-то я и хочу поговорить... Именно тогда искусство вернется к своей и более эффективной роли, чем ныне, занимаясь сочетанием форм и цветов ради мнимого зрительного наслаждения.

Приятное сочетание цветов, по-моему, не очень благородное занятие. Но если бы живопись занималась только этим, я бы и часа не стал на нее тратить.

Искусство обращается не к глазу, а к уму. Так к нему всегда относились "первобытные" общества и были правы. Искусство — это язык, орудие познания и общения.

Думаю, что преклонение перед письменностью в нашей культуре, как отмечалось в начале, привело к восприятию живописи как элементарно-грубого языка, пригодного для одних неучей. И чтобы дать искусству право на существование, позже был изобретен лживый, по-моему, миф о художественной красоте.

Я говорил и еще раз повторяю, что по языку живопись богаче слова и в искусстве совсем не нужно искать иные причины, которые оправдывают ее существование.

Язык живописи — непосредственное письменного языка и одновременно более многозначен. Он оперирует знаками, которые не столь отвлеченны и бесплотны, как словесные.

Эти знаки ближе стоят к самим предметам. Вот почему живопись может глубже фиксировать и передавать вещи, чем слово.

Живопись в состоянии /что уже показательно/ воспроизводить предметы больше или меньше, т.е. с большим или меньшим эффектом присутствия. И на всех уровнях между бытием и небытием.

Наконец, живопись может передавать предметы не изолированно, а во взаимосвязи с окружением, т.е. передавать одновременно множество вещей.

Кроме того, язык живописи гораздо непосредственное и спонтаннее словесного языка, он ближе стоит к крику или танцу. Вот отчего живопись лучше выражает наш внутренний мир, чем слово.

Как я уже говорил, она точнее передает мысль в разных ее состояниях, в том числе в самых низших /когда мысль только что появилась/, при пробуждении ума на подсознательных уровнях.

У живописи есть два преимущества перед языком. Во-первых, она выразительнее передает объекты и глубже в них проникает. Во-вторых, она дает гораздо больше простора для

художественной фантазии. Эти два свойства живописи делают ее великолепным орудием для активизации мысли или, если хотите, зрения. А также великолепным орудием для воплощения зрения и для понимания его нами вместе с художником.

Используя эти два мощных средства, живопись может подарить миру замечательные открытия. Она может дать человеку новые мифы и новую мистику, и выявить неведомые стороны предметов и неизвестные их значения.

Это, я думаю, более увлекательная задача для художника, чем сочетание форм и цветов в приятные для глаз комбинации.

Декабрь 1951 года
